

Ю. В. ЛАТОВ

Зависимость социальной структуры от предшествующего развития: “...И старым бредит новизна”? (Размышления к 25-летнему юбилею новой России)

Поводом для обсуждения итогов 25-летия социально-экономического развития постсоветской России является коллективная монография “Нова ли новая Россия?” под редакцией О. Шкаратана и Г. Ястребова. Ее концептуально-полемический характер ярко заявлен в самом заглавии. На этот вопрос авторы отвечают отрицательно: нет, в новой России продолжают воспроизводиться в качестве базовых институты власти-собственности, прочно укорененные в российской цивилизации с XIII в. В новой книге влияние зависимости от предшествующего “восточно-деспотического” развития рассматривается с точки зрения понимания особенностей социальной структуры и динамики современного российского общества, которое авторы называют неоэтакратическим. Общий аналитический результат получился неоднозначным. С одной стороны, заложенная в заголовке книги идея (показать, что и после “смерти” СССР в новой России продолжают сохраняться старые “правила игры”) вполне реализована: концептуально обосновано воспроизводство власти-собственности, эмпирически доказано отсутствие разрывов в развитии механизмов социальной мобильности и социальной поляризации. С другой стороны, стремление соединить концепцию воспроизводства власти-собственности с эмпирическими данными о социальной жизни постсоветской России удалось реализовать в существенно меньшей степени. В книге есть ряд новых аргументов в пользу того, что в России по-прежнему “государство сильнее, чем общество” (самый оригинальный и красивый – кейс “выбор врачей”). Однако комплексного доказательства все же пока нет. Это связано во многом с тем, что книга основана на результатах работы социологов с “обычными людьми”, в число которых представители “государства-класса” практически не попадают.

Ключевые слова: социальная структура, социальная мобильность, власть-собственность, этакратическое общество.

Текущий 2017 г. ознаменован двумя очень “резонансными” юбилеями: с одной стороны, 100-летием Февральской и Октябрьской революций, а с другой – 25-летием начала радикальных экономических реформ (“гайдароэкономики”). Соединение годовщины столь революционных событий органически подталкивает обществоведов к попыткам подвести как столетние, так и, особенно, четвертьвековые итоги национального развития, которые даже неспециалисту кажутся, мягко говоря, весьма противоречивыми. В нынешнем году россиян ожидает поток научной, научно-популярной и околонушной литературы на темы “100 лет спустя” и “25 лет спустя”. Уже появились первые ласточки, заслуживающие пристального внимания

Латов Юрий Валерьевич – доктор социологических наук, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН. Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д.24/35, к. 5. E-mail: latov@mail.ru

(см., например, [Четверть века... 2015; Нова ли... 2016]). Рассмотрим одну из них с откровенно провокационным названием “Нова ли новая Россия?”.

Прежде чем обсуждать книгу о том, насколько новой оказалась спустя четверть века постсоветская Россия, есть смысл вспомнить известный исторический анекдот. Когда незадолго до 200-летия Великой французской революции премьер-министра КНР Чжоу Эньлая спросили, как он оценивает это событие, то мудрый китайский политик дал парадоксальный ответ: “Прошло еще слишком мало времени, чтобы делать окончательные выводы”. Чаще всего эту реплику интерпретируют как ироническую – мол, за два столетия вполне можно бы и разобраться. Однако на самом деле в этой шутке была лишь доля шутки.

Действительно, смысл крупных – бифуркационных – событий на самом деле проясняется очень не скоро. В качестве иллюстрации попробуем представить себя в роли французского обществоведа, который спустя 25 лет оценивает, насколько то, что сейчас мы называем Великой французской буржуазной революцией 1789 г., обновило Францию. Результат мысленного эксперимента получится обескураживающий: 1814 г. – это реставрация Бурбонов, возвращение тех, кто “ничего не забыл и ничему не научился”. Пройдут еще примерно 60 лет и три революции, прежде чем французы более-менее окончательно определятся, что же произошло у них в конце XVIII в. – конструктивная революция или деструктивный мятеж¹. Этот мысленный эксперимент заставляет осторожно относиться к подведению итогов крупных исторических событий: большое видится на расстоянии, причем большое событие – на *очень* большом расстоянии.

Вышеизложенные соображения не следует, конечно, воспринимать как призыв не заниматься обобщениями результатов нашей “великой буржуазной революции” 1991–1992 гг., пока не пройдет пара-тройка столетий. Обществовед должен работать с тем, что можно разглядеть и проанализировать уже сейчас. Можно не сомневаться, что в 2092 г., когда станут отмечать столетний юбилей гайдаровских реформ (подобно тому, как лет десять назад отмечали юбилей стольпинских), то о значении этих реформ будут знать существенно больше, чем знаем мы. Наши потомки, как это всегда бывает, увидят больше, будучи, по английской пословице, зрячими карликами на плечах слепых гигантов. Объективная задача современных обществоведов, изучающих постсоветскую Россию “лицом к лицу”, как раз и заключается в том, чтобы стать этими самыми слепыми гигантами, без которых зрячие карлики увидят и узнают гораздо меньше.

В данной статье основной повод для рефлексии по поводу 25-летия новой (постсоветской) России, как уже отмечалось, – изданная недавно коллективная монография под редакцией О. Шкаратана и Г. Ястребова. Подход авторов книги интересен тем, что, хотя она и появилась на исходе кризиса 2014–2016 гг., но написана в основном на материалах докризисного периода: это понятно из подзаголовка монографии – “Перемены в социальной структуре общества и социальном воспроизводстве россиян по материалам опросов 1994–2013 гг.”. Такой подход позволяет отвлечься от экстраординарных обстоятельств самых последних лет и лучше понять, какой именно режим мы успели построить до того, как жизнь начала его “проверять на прочность”.

На вынесенный в заголовок книги вопрос авторы отвечают, как и следовало ожидать, отрицательно: нет, в новой России продолжают воспроизводиться в качестве базовых институты власти-собственности, прочно укорененные в российской цивилизации едва ли не с самого ее генезиса. Как пишет Шкаратан: “Основной посылкой монографии... является тезис о том, что Россия относится к евразийской цивилизации, которая существенно отличается от европейской (атлантической) модели... После потрясений 1990-х гг. страна постепенно возвращается на свой евразийский путь.

¹Строго говоря, дискуссия о той далекой революции не завершена и сейчас: одни считают ее народным движением, другие – результатом масонского заговора.

Авторитарные традиции как доминировали в экономике страны в прежние эпохи, так и возвращают ныне свое доминирование” [Нова ли... 2016, с. 358, 115].

Это – продолжение той линии развития российского обществоведения, которая сформировалась еще во второй половине 1990-х гг. (см., например, [Бессонова, Кирдина, О’Салливан 1996; Бессонова 1999; Кордонский 2000; Нуреев 2001]), по завершению радикальных реформ и возможности хотя бы в первом приближении судить о том, какая именно “созидательная работа” заметна за “грудой развалин”. В 2000–2010-е гг. число работ сторонников этого подхода активно росло (см., например, [Нуреев, Рунов 2002; Шкаратан 2004; Цирель 2006; Плискевич 2006; Нуреев, Латов 2015]), поскольку он позволял, с одной стороны, вписать проблемы “новой” (провозглашенной в декабре 1991 г.) России в контекст многовековой истории российской цивилизации, а с другой – дистанцироваться как от проправительственной, так и от оппозиционно-либеральной позиций. Хотя этот подход начал проникать даже в учебную литературу [Нуреев, Латов 2016], доминирующим в научной среде он пока еще не стал – хотя бы по той причине, что после советской эпохи “принудительного марксизма” многие принципиально отвергают саму необходимость и полезность для обществоведения каких-либо “больших теорий”.

Сторонники этой позиции опираются на неортодоксальную версию марксистской теории формаций, согласно которой за пределами западноевропейской цивилизации с древности до нового времени господствовал так называемый азиатский способ производства (“восточный деспотизм”). Этот этакратический (государственно-центричный) общественный строй сам по себе застой и не способен к спонтанной трансформации в более прогрессивную формацию. Однако он способен к мобилизационной концентрации ресурсов и, при наличии сильной политической воли элитных групп, может успешно импортировать многие институты западного капитализма. Является ли такой импорт институтов поверхностной имитацией или органической формой модернизации, строго говоря, не вполне ясно до сих пор. Даже Япония, которая первая в истории показала однозначно успешные результаты капиталистической модернизации вполне азиатского общества, за прошедшие после революции Мэйдзи 150 лет вовсе не потеряла этакратического характера своей национальной модели социально-экономического развития. Многочисленные “экономические чудеса” (не только в КНР, но и, например, в ОАЭ) показали, что государственно-центричные общества разных цивилизаций вполне могут успешно развиваться, отнюдь не отказываясь от авторитарных методов руководства развитием. Определенная конвергенция западной демократии и восточного авторитаризма заметна только на протяжении длительных периодов и не во всех странах².

В рецензируемой книге, как и в других работах Шкаратана, в качестве базового термина используется понятие “этакратическое общество (этакратизм)”. Поскольку это общество трактуется как “параллельная ветвь исторического развития современного индустриального общества” [Нова ли... 2016, с. 278], то очевидна синонимичность этого понятия “азиатскому способу производства” К. Маркса, “восточному деспотизму” К.-А. Виттфогеля и “власти-собственности” Л. Васильева. Принципиальная новизна подхода Шкаратана в том, что он концентрирует внимание не на истории “восточного деспотизма”, а на устойчивом его воспроизводстве в СССР/России XX–XXI вв. как проявлении зависимости от предшествующего развития. Эта нацеленность на объяснение не столько прошлого, сколько настоящего и будущего, сближает этакратическую концепцию Шкаратана с концепцией обществ X-матрицы С. Кирдиной. Чтобы подчеркнуть эту нацеленность, в книге предлагается даже особый термин: “*Природа сложившейся в постсоветской России социально-экономической*

²Например, в странах конфуцианской цивилизации тренд на конвергенцию с Западом довольно явно выражен, в то время как в странах исламской цивилизации такой тренд выражен гораздо слабее (даже Турция, целенаправленно осуществляющая догоняющее развитие уже более двух столетий, по-прежнему сохраняет авторитарно-этатистские институты).

системы — этакратизм в новой фазе его развития, т.е., другими словами, неэтакратизм” [Нова ли... 2016, с. 96].

Применительно к анализу постсоветской России дискурс о “восточно-деспотическом” (неэтакратическом) характере российской цивилизации сталкивается со многими проблемами. В частности, до сих пор нет консенсуса, насколько правомерно интерпретировать историю России при помощи концепции азиатского способа производства. Даже сторонники этого концепта оговариваются, что в российской истории были фрагменты и периоды развития западных (не-восточных) институтов³. В таком случае в “генетическом коде” российской цивилизации есть предрасположенность не только к авторитарному этатизму, но и (пусть в меньшей степени) к более гражданско-демократическим “правилам игры”. Нет и ясности в вопросе о том, как влияет российский этатизм на развитие. Лишь гиперлибералы (либертарианцы) в принципе отрицают полезность государственного регулирования экономики, считая именно его главной причиной затянувшегося отставания восточных этатистских обществ от западных демократических. Представители других направлений признают, что авторитарная модернизация может быть фазой траектории вполне успешного национального развития, ведущей в дальнейшем к ослаблению государственного регулирования и к усилению институтов самоорганизации (как это было, например, в Японии и Южной Корее).

Авторы новой коллективной монографии о (не)новой России решили проанализировать влияние зависимости от предшествующего “восточно-деспотического” развития не по всем ракурсам социально-экономической жизни⁴, а только по одному аспекту. Речь идет об особенностях социально-классовой структуры российского общества. Это именно тот аспект, по которому, как считается, даже модернизированные восточные общества проигрывают развитым западным странам.

В то время как явное достижение стран Запада — построение во второй половине XX в. общества с доминированием среднего класса, в большинстве восточных обществ даже в начале XXI в. устойчиво сохраняется поляризация на немногочисленную богатую элиту, получающую политическую ренту, и численно доминирующие бедные слои. Исключения, конечно, есть — такие очень богатые страны, как ОАЭ или Саудовская Аравия, и некоторые страны с наиболее длительным опытом капиталистической модернизации, как Япония или Южная Корея. В большинстве же стран догоняющего развития создать рост общественного богатства удастся, но эффект Матфея⁵ действует слишком сильно. В результате, хотя и возникают анклавов почти-западного образа жизни (прежде всего, в крупных городах), но общество массового благосостояния остается даже не на горизонте, а скорее за линией горизонта.

Формированию такого общества препятствует прежде всего сохранение социальной поляризации на привилегированных управляющих (“государство-класс”) и приниженных управляемых (“класс подданных”). Элита, формируемая по признаку приближенности к государственному управлению, монополизирует власть-собственность, оставляя не-элитным группам (включая большинство государственных служащих, не занимающих руководящие должности) лишь “крошки с барского стола”. Хотя при характеристике “восточного деспотизма” (включая его современные

³В рецензируемой книге, в частности, указано на сформировавшееся в XIII–XIV вв. различие между “ордынским типом властвования” в Северо-Восточной России и тяготеющей к европейскому феодализму “княжеско-боярской моделью” в Юго-Западной России [Нова ли... 2016, с. 108].

⁴Наиболее успешным примером комплексного анализа постсоветской России с опорой на теорию власти-собственности остается, пожалуй, работа Виртуальной мастерской Р. Нуреева [Экономические 2003]. Следует учесть, что ее исследования проводились в самом начале 2000-х гг., когда постельщинский “откат” был еще не настолько заметен. Впрочем, участники Виртуальной мастерской обращали внимание на то, что воспроизводство власти-собственности происходило и в 1990-е гг., несмотря на официальное доминирование либеральных лозунгов.

⁵Эффектом Матфея социологи называют усиление дифференциации доходов в процессе развития общества: “Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет”. Данный эффект как социальная закономерность сформулирован Р. Мертоном [Merton 1968].

модификации) нередко говорят о классах, фактически речь идет скорее о сословиях, чем о классах в собственном смысле слова⁶.

В какой степени авторам коллективной монографии удалось эту концепцию подкрепить эмпирическими фактами, характеризующими реалии постсоветской России? Ведь постоянная проблема “больших теорий” — трудность их эмпирической верификации: между абстрактными понятиями (“формация”, “цивилизация”...) и базами конкретных данных о социально-экономической жизни (доходах, благосостоянии, культурных ценностях, этнорелигиозной принадлежности...) часто оказывается “дистанция огромного размера”. Эта дистанция хорошо видна, например, когда авторы книги от общих рассуждений о развитии в России власти-собственности переходят к конкретному анализу характеристик социальной стратификации и социальной мобильности.

В одной из глав изложены интересные полученные Ястребовым результаты измерения и анализа динамики распределения разных форм капитала — экономического (собственности, недвижимости и доходов), административного (выполнения руководящих функций), культурного (склонности читать, посещать музеи и театры) и человеческого (образования). С точки зрения теории власти-собственности, следовало ожидать, что экономический капитал наиболее сильно зависит от административного капитала, причем в 1990—2010-е гг. (по мере постулируемого усиления “евразийского” характера российского общества) эта зависимость должна усиливаться. Однако фактическая картина оказалась иной. Как показывают коэффициенты парной корреляции, имущественное положение сильнее всего коррелирует с культурным капиталом (коэффициент 0,32 в 2006 и 2013 гг.), слабее — с человеческим капиталом (0,28 в 2006 г. и 0,23 в 2013 г.), а административный капитал оказался на последнем месте (0,23 в 2006 г. и 0,21 в 2013 г.) [Нова ли... 2016, с. 167]⁷. Это можно интерпретировать так, что материальное богатство (классическая собственность) в постсоветской России заметнее связано с наличием знаний, чем с наличием административного ресурса (власти)⁸. Такой вывод — аргумент в пользу скорее “постиндустриальной” интерпретации России, чем “восточно-деспотической”. Правда, предположение о росте значения административного капитала оказывается верным (в 1994 г. корреляция между ним и экономическим капиталом была лишь 0,13, а в 2006 г. — 0,23), и это можно рассматривать как аргумент в пользу тезиса о возвращении России на “евразийский путь”.

Финальный вывод о характере и динамике социального неравенства звучит не совсем в унисон с концепцией власти-собственности, хотя и не противоречит ему: “российскому обществу по-прежнему присуща довольно высокая степень статусной рассогласованности и социальной аморфности”, что типично для трансформирующихся обществ. По мнению Ястребова, можно поэтому предположительно говорить о конкуренции разных социальных иерархий, одна из которых типична для “рыночных капиталистических обществ”, а другая связана с прежним “этакратическим социальным порядком” [Нова ли... 2016, с. 176]. Таким образом, если Шкаратан считает

⁶ “Нами показано, что в российской социетальной системе сложился своеобразный тип социальной стратификации, который представляет собой переплетение по-прежнему доминирующей сословной иерархии, в которой позиции индивидов и социальных групп определяются их местом в структуре власти и закрепляются в формальных рангах и соотношенных с ними привилегиях, и элементов классовой дифференциации, задаваемой владением собственностью и различиями по месту на рынке труда” [Нова ли... 2016, с. 10].

⁷ Следует напомнить, что по шкале Чеддока корреляции с коэффициентом ниже 0,3 считаются слабыми (если они ниже 0,2, то корреляция считается пренебрежимо малой), а в интервале 0,3—0,5 — умеренными.

⁸ Наличие знаний лучше определять по неформальной склонности читать и ходить в театр, чем по формальному наличию диплома о высоком образовании. Правда, посещение театров/музеев и наличие крупной домашней библиотеки может быть элементом престижного потребления (как и стремление получить дипломы докторов наук) безотносительно к культурно-образовательному уровню потребляющего субъекта. Кроме того, бросается в глаза, что показатели культурного капитала сформулированы несколько “нафталинно”: в настоящее время даже взрослые люди читают книги и смотрят фильмы/спектакли всё больше по Интернету.

постсоветское общество “социальной системой, обращенной в прошлое” [Шкартан 2015], то у Ястребова Россия изображена скорее двуликим Янусом, обращенным одновременно и в прошлое, и в будущее.

В другой главе книги изложены выявленные Ястребовым долговременные (за 2004–2013 гг.) тренды мобильности на основе баз данных общероссийских опросов. Эти тенденции выглядят следующим образом:

– территориальная мобильность замедлилась (что вполне ожидаемо – после ликвидации прописки в 1990-е гг. россияне массово реализовали отложенный спрос на урбанизацию, после чего процесс стягивания населения в крупные города приобрел более естественный темп);

– образовательная мобильность “демонстрирует определенную стабильность”, в рамках которой наблюдаются некоторые сдвиги (скажем, если в советское время дети, как правило, получали более высокое образование, чем их родители, то в постсоветское время “понижение образовательного статуса в следующем поколении стало практически равновероятным с его повышением”);

– социально-профессиональная мобильность продолжает позднесоветский тренд, заключающийся в ослаблении восходящих перемещений и усилении перемещений нисходящих (“позитивная динамика в развитии социально-профессиональной структуры, некогда подстегнутая индустриализацией и научно-техническим прогрессом в СССР, исчерпала себя уже к концу советского периода”) [Нова ли... 2016, с. 235–237].

Перечисленные выводы имеют большое значение для понимания социальной динамики российского общества. Сам автор данной главы видит явные параллели полученных им результатов с точкой зрения П. Сорокина, что социальная мобильность изменяется волнами и не имеет какой-либо устойчивой и однонаправленной динамики, даже если общество проходит через радикальные реформы/революции. Однако можно ли связать эти выводы с концепцией воспроизводства институтов власти-собственности? Сомнительно, ведь тесную сопряженность имущественного положения (собственности) с руководящими функциями (властью) трудно выразить через характеристики территориальной, образовательной и социально-профессиональной мобильности.

Впрочем, изучение социально-профессиональной мобильности, с точки зрения выявления степени наследуемости социально-профессиональных позиций, дает определенный шанс для выхода на концепцию “восточного деспотизма”. Востоковеды указывают на существование двух типов традиционных восточных обществ: в одних наблюдалась высокая мобильность (например, в Турции XVI–XVII вв. способный “выскачка” из покоренных народов мог стать даже великим визирем, вторым человеком в государстве), но чаще мы видим наследственность власти-собственности. Соответственно, при изучении советской номенклатуры как “государства-класса” постоянно подчеркивалось стремление элиты к кастовости, к передаче отцов к детям причастности к власти и к высокому уровню жизни. Конкретных фактов существования “номенклатурных династий” можно привести немало (главный экономист-реформатор Е. Гайдар – сын советского контр-адмирала – яркий пример), но типичность такого наследования остается под вопросом.

При анализе характеристик социальной мобильности Ястребов специально остановился на вопросе о наследовании социально-профессиональных позиций. Однако предлагаемый в книге ответ на этот вопрос выглядит не очень концептуально: “...мы не обнаружили сколько-нибудь значительных изменений в характере наследуемости социально-профессиональных позиций или обусловленности перемещений родительским социально-профессиональным статусом” [Нова ли... 2016, с. 237]. Это означает, что события 1990–2000-х гг. не привели ни к усилению, ни (как ожидалось) к ослаблению зависимости статуса детей от статуса их родителей. Но вот насколько сильной была раньше эта зависимость, особенно – в семьях элитных социальных групп? Увы, в анализируемой книге ответа на этот вопрос нет. Более того, наследственность принадлежности к элитным группам рассматривается лишь как одно из проявлений

наследственности социально-профессионального статуса как такового (равнозначно с наследуемостью статуса, например, квалифицированных рабочих).

Дело в том, что для полномасштабного эмпирического подкрепления теории сохранения отношений власти-собственности требуются возможности, которыми вряд ли в настоящее время обладает какой-либо исследовательский коллектив. С одной стороны, проект по доказыванию сохранения в “новой” России старых “восточно-деспотических” институтов будет иметь *очень* большие проблемы с получением грантового финансирования (а на одном энтузиазме такой крупный проект, требующий коллективного научного труда, выполнить невозможно). С другой стороны, гораздо важнее то, что элитные группы российского общества максимально закрыты от социологического анализа⁹. Это связано с тем, что практики отношений власти-собственности, как правило, морально осуждаемы (привилегии чиновников) и/или уголовно наказуемы (коррупция), поэтому обнародование “адресных” материалов по этой тематике чревато обвинениями в клевете и нанесении ущерба репутации. В результате социологи обречены изучать гипотетическое противостояние в рамках системы власти-собственности на основе анализа мнений/суждений в основном лишь тех, кто от власти-собственности отрешены. Подобный “хлопок одной ладонью” одни вопросы оставляет в тени, другие решает не вполне доказательно. Когда и если хорошо информированный социолог начинает описывать практики российской власти-собственности, то он может это делать только в абстрактно-гипотетической форме¹⁰.

Тем не менее некоторые интересные эмпирические доказательства существования в современной России отношений власти-собственности авторы анализируемой книги найти смогли. Одно из самых интересных и оригинальных доказательств – проанализированный Ф. Чернышем кейс “выбор врачей” [Нова ли... 2016, с. 292–299]. Респондентам из числа обычных россиян предлагали решить, кого из жертв аварии станут в первую очередь спасать врачи – федерального чиновника, богатого бизнесмена или простого рабочего. В “нормальном” демократическом обществе, по идее, этот вопрос должен восприниматься, как если бы предложили решать, кого в первую очередь спасать – шатена, блондина или рыжего¹¹. В условиях классического (“дикого”) капитализма позапрошлого века, очевидно, большинство бы высказались за приоритетное спасение самого состоятельного пациента. Но в России все не так: что спасать станут рабочего, посчитали лишь 7% респондентов репрезентативной выборки, 15% высказались за “буржуазный” вариант, 29% “демократически” затруднились ответить, зато с абсолютным отрывом (50%) победило “восточно-деспотическое” мнение, что спасут чиновника. Особенно интересно, что когда респондентов спрашивали о мотивации выбора врачей в гипотетической ситуации, то лишь 3% из них указали, что “выбрали того, кто полезней для страны”, еще 10% полагают, что врачам бы “сверху подсказали”, еще 16% – что “в таких случаях все решает связь”, а 34% – что “в таких случаях все решают деньги” (были и другие варианты ответов). Получается парадокс – большинство тех, кто считают деньги решающим фактором выбора, указали на преимущественные жизненные шансы вовсе не самого богатого. Исследователь этот парадокс прокомментировал так: “Деньги чиновника, полагают респонденты, имеют иной вес, чем деньги собственника” [Нова ли... 2016, с. 294]. Если от богатого пациента за спасение его жизни можно ожидать лишь разовой оплаты, то от чиновника – изменения финансирования больницы, что даст более долгий и сильный эффект.

⁹ «...Данные представительных опросов не охватывают всей картины, так как представители “социального дна” и “социальных верхов” являются наиболее труднодостижимыми объектами при сборе социологической информации» [Нова ли... 2016, с. 166].

¹⁰ Ярким примером “обреченности” исследователя на гипотетичность и невозможности сослаться на эмпирику являются, например, исследования по проблеме политического инвестирования [Барсукова, Звягинцев 2006]. Тем не менее даже при таком подходе с ограниченными возможностями опоры на эмпирику можно получать интересные аналитические результаты (см., например, [Плискевич 2015]).

¹¹ Уместно для сравнения вспомнить, что проявлением решения проблемы расовой дискриминации в США считают рост не числа тех белых, кто готовы выдать свою дочь за черного, а числа тех, кто не понимают, почему цвет кожи играет в создании семьи какую-то роль.

Данный кейс – красивая иллюстрация различий между частной собственностью и властью-собственностью. Собственность сама по себе, конечно, имеет значение (она дает бизнесмену шансов на выживание в два раза больше, чем простому рабочему), но власть распоряжаться государственными ресурсами гораздо важнее (у чиновника шансов более чем в три раза больше, чем у бизнесмена).

Конечно, приведенное доказательство доминирования в России отношений власти-собственности скорее остроумно, чем доказательно. Пока невозможно проверить, насколько мнения “простых” россиян соответствуют жизненным реалиям¹². В любом случае есть смысл вспомнить так называемую теорему Томаса: “Ситуации, определяемые людьми как реальные, реальны по своим последствиям” [Merton 1957, p. 14]. Поскольку большинство россиян убеждены в наличии незаконных и нелегитимных привилегий у государственно-бюрократической элиты, то независимо от наличия/отсутствия строгих доказательств этих привилегий антибюрократическая риторика постоянно находит самый благоприятный отклик у широких масс.

Другой интересный подход к доказательству детерминированности современной социальной структуры российского общества институтами власти-собственности – это анализ в книге о “новой России” сюжетов, связанных с развитием новейших разновидностей социальной стратификации, прекариата и креативного класса. Как известно, в развитых странах по мере развития государства всеобщего благосостояния традиционная поляризация на богатых предпринимателей и бедных наемных рабочих теряет актуальность (в связи с чем в зарубежной социологии популярно мнение о “смерти классов”). Однако до эгалитарного общества даже развитым странам по-прежнему далеко. Новой осью социального напряжения становится противоположность между множеством работников с неустойчивой рутинной занятостью (прекариатом) и гораздо менее многочисленными работниками творческого труда, которые не испытывают трудностей с поиском занятости (креативным классом).

Поскольку в постсоветской России хотя бы анклавно (в мегаполисах) развиваются институты, типичные для развитых стран, то следует ожидать появления в нашей стране и прекариата, и креативного класса. В то же время “правила игры”, диктуемые воспроизводством старой власти-собственности, оказывают сильное влияние и на эти новые социальные группы. В идеальном демократическом обществе различия между прекариатами и “креативщиками” диктовались бы в первую очередь образованием: кто смог развить свои способности и “познать истину”, тот стал способным к творчеству и свободным от угрозы безработицы, а кто ленится учиться, тот и во взрослой жизни балансирует на грани “исключения”. В российском же обществе ситуация во многом иная.

Прежде всего “риск попадания в прекариат определяется не столько уровнем образования, сколько социальным происхождением индивида, связанным с ним культурным капиталом, а также властным ресурсом. По мере увеличения двух этих показателей, риск прекаризации снижается” [Нова ли... 2016, с. 325]. Такой вывод не обязательно служит аргументом в пользу концепции власти-собственности: выполнение властных функций (управление) – органически не рутинная деятельность, поэтому ставший руководителем высокого ранга по определению имеет креативные качества и потому вряд ли должен бояться потерять работу (незаменимых почти нет, но есть труднозаменимые). Более высокая зависимость прекаризации от социального происхождения, чем от образования, нелестно характеризует нашу образовательную систему (она развивает креативность хуже, чем воспитание в “интеллигентной” среде), но не доказывает наличия власти-собственности.

¹²Видимо, более веским доказательством оправданности точки зрения о преимуществах чиновников были бы, например, результаты обработки базы данных о медицинских услугах, которые бы подтвердили, что чиновники при прочих равных получают лучшую медицинскую помощь, чем предприниматели и обычные работники. Однако низкая возможность доступа исследователей к подобным базам данных в настоящее время делает подобную проверку малореальной.

Гораздо интереснее и оригинальнее в рецензируемой книге показана специфика российских “креативных групп”. К “креативному классу” принято относить высококвалифицированных профессионалов, которых в России (прежде всего, в крупных городах) довольно много. Но вот в какой степени российские профессионалы действительно склонны к креативной (творческой) деятельности? В рецензируемой книге сделан четкий вывод, что “российская трудовая культура является неблагоприятной для реализации креативного поведения профессионалов” [Нова ли... 2016, с. 340]. Это поведение подавляется отечественной управленческой культурой, которую можно описать как “авторитарную, основанную на директивном стиле управления, поощряющем лояльность и не предполагающем обратной связи и инициативы подчиненных” [Нова ли... 2016, с. 342].

Для доказательства подавленности творческих качеств даже у представителей наиболее креативных социальных групп в книге используются данные глубинных интервью с иностранными профессионалами, работающими в России в мультинациональных трудовых коллективах. В этих интервью раскрывается любопытный парадокс: с одной стороны, русские профессионалы демонстрируют высокое трудолюбие (если надо, готовы работать допоздна и по выходным), с другой — это трудолюбие лояльных исполнителей, а не увлеченных творцов. “Я не вижу большого количества инноваций, идущих снизу, — выражает озабоченность один из проинтервьюированных иностранных специалистов. — Русские хороши в стандартных задачах. Они предпочитают не делать ничего, чем сделать неправильные вещи” [Нова ли... 2016, с. 355]. В результате западные менеджеры в России оказываются перед трудным выбором — то ли им приучать российских профессионалов к западным стандартам креативной работы (это вполне возможно, но даст результаты далеко не сразу), то ли самим переходить на директивный стиль работы (“отдавать четкие распоряжения — так, как это принято в России” [Нова ли... 2016, с. 353]).

Такая подавленность креативной деятельности отчетливо сближает Россию с восточными странами. Как известно, даже в наиболее развитых из них (например, в Японии) слабым звеном национального экономического развития остается инноватика: профессионалам, выросшим в “восточно-деспотической” культуре директивного управления, легче совершенствовать чужое изобретение, чем делать свое¹³. Приведенные факты показывают, что хотя в постсоветской России появляются новые социальные группы, похожие на наблюдаемые в развитых странах, однако и на них лежит сильный отпечаток зависимости от долгого развития институтов власти-собственности.

В целом общий аналитический результат у авторов книги о “новой России” получился неоднозначным. С одной стороны, заложенная в заглавии книги идея — показать, что и после “смерти” СССР в новой России продолжают сохраняться старые “правила игры”, — вполне реализована: концептуально обосновано воспроизводство власти-собственности, эмпирически доказано отсутствие разрывов в развитии механизмов социальной мобильности и социальной поляризации. Новая Россия имеет, судя по всему, гораздо больше общего с “умершим” Советским Союзом, чем отличий от него. Можно сказать, что стремление россиян 1990-х избежать “футурошока” в значительной степени оправдалось, хотя из советского образа жизни сохранилось немало таких “правил игры”, которые большинством россиян осуждаются. Одну из рецензий на эту книгу озаглавили “Бунт перемен” [Бунт перемен 2016], однако пафос книги как раз в том, что перемены (не всегда в лучшую сторону) имели место, а вот “бунта” (резких качественных изменений) не произошло, преемственность с позднесоветскими

¹³Эффективный путь решения проблемы пробуждения креативности в странах с авторитарной культурой (это хорошо видно по опыту японских кружков качества) — опора не на индивидуальную, а на групповую (“артельную”) деятельность (подробнее см. [Латова 2017]). Поэтому жалобы западных профессионалов на низкую креативность россиян в значительной степени отражают, видимо, западный культ личного успеха, а не русскую “привычку к шаблону”.

институтами превалирует над разрывом с ними. На новом витке истории повторяется то, что почти 100 лет назад заметил М. Волошин: “в комиссарах— дурь самодержавья”.

С другой стороны, стремление соединить концепцию воспроизводства власти-собственности с эмпирическими данными о социальной жизни постсоветской России удалось реализовать в существенно меньшей степени. В книге есть ряд новых аргументов в пользу того, что по-прежнему “государство сильнее, чем общество” (самый оригинальный и красивый — кейс “выбор врачей”). Однако комплексного доказательства все же нет. Его, пожалуй, и не могло быть, поскольку, как я уже упоминал, книга основана на результатах работы социологов с “обычными людьми”, в число которых представители “государства-класса” практически не попадают. Это похоже на то, как если бы социологи на машине времени прилетели, предположим, в эпоху Ивана Грозного и попытались на основе изучения лишь жизни крестьян определить, какой общественный строй был тогда в Московском царстве. Такой метод анализа (путем изучения одной только жизни “класса подданных”) имеет существенные ограничения, хотя и с его помощью можно получить определенные результаты.

Кроме того, отрицательный результат может быть объективно не менее важен, чем положительный. С этой точки зрения, следует обратить внимание на то, что стандартные (основанные на массовых опросах) методы анализа социальной динамики пока не позволяют выявлять постулируемую разницу между классовым и сословным типами социальной стратификации. Возможно, для комплексного выявления неэтакратической специфики современного российского общества был бы необходим компаративистский подход — последовательное сравнение России с наиболее “нормально-капиталистическими” постсоветскими странами (например, странами Балтии) и с наиболее “нормально-азиатскими” (скажем, странами Средней Азии)¹⁴.

Итак, хотя исходный замысел в полной мере реализовать не удалось, но “за попытку — спасибо”. Авторам книги определенно удалось войти в число “слепых гигантов”, стоя на плечах которых впоследствии будет легче понять эволюцию российской власти-собственности и социальной структуры российского социума.

¹⁴Компаративистский подход в рецензируемой монографии обозначен в одной из ее глав, написанной британским социологом Д. Лейном: в ней доказывается, что у трансформационных процессов в постсоциалистических странах наблюдаются сходящиеся и не очень удачные последствия, связанные с опорой на неолиберальную идеологию. Критика за шаблонное следование неолиберализму, которую дает Лейн, концептуально отличается от критики зависимости от “азиатского” пути развития у Шкаратана.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Барсукова С.Ю., Звягинцев В.И. (2006) Механизм политического инвестирования, или Как и зачем российский бизнес участвует в выборах и оплачивает партийную жизнь // ПОЛИС. № 2. С. 110–121.

Бессонова О.Э. (1999) Раздаток: институциональная теория хозяйственного развития России. Новосибирск: ИЭ и ОПП СО РАН.

Бессонова О.Э., Кирдина С.Г., О’Салливан Р. (1996) Рыночный эксперимент в раздаточной экономике России: Демонстрационные проекты в жилищном хозяйстве. Новосибирск: ИЭ и ОПП СО РАН.

Бунт перемен (2016) // Высшее образование сегодня. № 8. С. 59–63.

Кордонский С.Г. (2000) Рынки власти: Административные рынки СССР и России. М.: ОГИ.

Латова Н.В. (2017) Производственная культура рабочих современной России как элемент их человеческого капитала (этнометрический анализ на основе концепции Г. Хофстеда) // Мир России. № 3. (В печати.)

Нова ли новая Россия? Перемены в социальной структуре общества и социальном воспроизводстве россиян по материалам опросов 1994–2013 гг. (2016) М.: Университетская книга.

Нуреев Р.М. (2001) Социальные субъекты постсоветской России: история и современность // Мир России. № 3. С. 3–66.

- Нуреев Р.М., Латов Ю.В. (2015) Постсоветское институциональное развитие: в поисках выхода из колеи власти-собственности // Мир России. № 2. С. 50–88.
- Нуреев Р.М., Латов Ю.В. (2016) Экономическая история России (опыт институционального анализа): учебное пособие. М.: КНОРУС.
- Нуреев Р.М., Рунов А.Б. (2002) Россия: неизбежна ли депривация? (феномен власти-собственности в исторической перспективе) // Вопросы экономики. № 6. С. 10–31.
- Плискевич Н.М. (2006) “Власть-собственность” в современной России: происхождение и перспективы мутации // Мир России. № 3. С. 62–113.
- Плискевич Н.М. (2015) Трансформация системы-собственности в России: региональный аспект. Реформы и качество государства // Мир России. № 1. С. 8–34.
- Цирель С.В. (2006) “Власть-собственность” в трудах российских историков и экономистов // Общественные науки и современность. № 3. С. 119–131.
- Четверть века после СССР: люди, общество, реформа (2015). Под ред. Е.Б. Шестопал, А.Ю. Шутова, В.И. Якунина. М.: Издательство Московского университета.
- Шкаратан О.И. (2015) Социальная система, обращенная в прошлое // Социологический журнал. № 3. С. 80–119; № 4. С. 150–168.
- Шкаратан О.И. (2004) Этакратизм и российская социетальная система // Общественные науки и современность. № 4. С. 49–62.
- Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ) (2003). В 3 ч. Ч. 1–3. Под ред. Р.М. Нуреева. М.: МОНФ.
- Merton R.K. (1968) The Matthew Effect in Science // Science. № 159 (3810). Pp. 56–63.
- Merton R.K. (1957) Social Theory and Social Structure. Glencoe: Free Press.

Path Dependence of the social Structure of the previous Development: “...the Moderns rage against the Old”? (Reflection to the 25-th anniversary of the new Russia)

Y. LATOV*

*Latov Yuri – doctor of sociological sciences, candidate of economic sciences, leading researcher of the Institute of sociology, RAS. Address:117218, Moscow, Krzhizhanovskogo str., 24/35, bld. 5. E-mail: latov@mail.ru

Abstract

The new collective monograph under the editorship of O.I. Shkaratan and G.A. Yastrebov is a good opportunity to discuss some of the outcomes of a 25-year socio-economic development in post-soviet Russia. The conceptual and polemical nature of the approach of the authors of this monograph is stated in its title – “Is the new Russia new?”. To this question the authors answer in the negatively: the institutions of power-ownership are reproduced in the new Russia, rooted in russian civilization from the thirteenth century. In the new book impact depending on the previous “oriental-despotic” development is considered from the point of view of the understanding of social structure and dynamics of modern neo-etacracy Russian society. The general analytical result is ambiguous. On the one hand, the idea in herented in the title of the book (to show that in the new Russia the old “rules of the game” continue to persist) is realized: the concept justifies the reproduction of power-ownership empirically proved the absence of gaps in the development of mechanisms of social mobility and social polarization. On the other hand, the desire to combine the concept of the reproduction of power and property with empirical data about the social life of post-soviet Russia managed to realize less. In the book there are a number of new arguments in favor of the fact that Russia is still “the state is stronger than society” (the most original and beautiful – it is a case of “choice of doctors”). However, comprehensive evidence is still there. This is due mostly to the fact that the book is based on the results of the work of sociologists with “ordinary people”, including representatives of the “state-class” who practically are not included in the sample.

Keywords: social structure, social mobility, power-ownership, etacracy.

REFERENCES

- Barsukova S. Ju., Zvjaginets V.I. (2006) Mehanizm politicheskogo investirovaniya, ili Kak i zachem rossijskiy biznes uchastvuet v vyborah i oplachivaet partiynuyu zhizn' [Mechanism of political investing, or how and why the Russian business participates in the elections and pays the party life]. *Politicheskie issledovaniya*, no. 2, pp. 110–121.
- Bessonova O.E. (1999) *Razdatok: institucional'naya teoriya hozyaystvennogo razvitiya Rossii* [Razdatok: institutional theory of economic development in Russia]. Novosibirsk: SO RAN.
- Bessonova O.E., Kirdina S.G., O'Sullivan R. (1996) *Rynochniy yeksperiment v razdatochnoy ekonomike Rossii: Demonstracionnye proekty v zhilishhnom hozjajstve* [Market experiment in the Russian razdatok-economy: Demonstration projects in housing]. Novosibirsk: SO RAN.
- Bunt peremen [Riot of change] (2016) *Vysshee obrazovanie segodnja*, no. 8, pp. 59–63.
- Cirel' S.V. (2006) "Vlast'-sobstvennost'" v trudah rossijskih istorikov i ekonomistov ["Power-ownership" in the writings of the Russian historians and economists]. *Obshhestvennye nauki i sovremennost'*, no. 3, pp. 119–131.
- Chevert' veka posle SSSR: lyudi, obshchestvo, reforma* (2015) [A quarter later after the Soviet Union: people, society, reform]. Moscow: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta.
- Ekonomicheskie subjekty postsovetskoy Rossii (institucional'nyy analiz)* (2003) [The economic actors of the post-soviet Russia (institutional analysis)]. Moscow: MONF.
- Kordonskiy S.G. (2000) *Rynki vlasti: Administrativnye rynki SSSR i Rossii* [Power markets: Administrative markets of the USSR and Russia]. Moscow: OGI.
- Latova N.V. (2017) Proizvodstvennaya kul'tura rabochih sovremennoy Rossii kak element ih chelovecheskogo kapitala (etnometricheskii analiz na osnove koncepcii G. Hofsteda) [Production of working culture of modern Russia as a part of their human capital (etnometric analysis on the basis of G. Hofstede's concept)]. *Mir Rossii*, no. 3. (To appear.)
- Merton R.K. (1968) The Matthew Effect in Science. *Science*, no. 159 (3810), pp. 56–63.
- Merton R.K. (1957) *Social theory and social structure*. Glencoe: Free Press.
- Nova li novaya Rossiya? Peremeny v social'noy structure obshhestva i social'nom vosproizvodstve rossiyan po materialam oprosov 1994–2013 gg.* (2016) [Is the new Russia new? Changes in the social structure of society and the social reproduction of Russians based on surveys 1994–2013]. Moscow: Universitetskaya kniga.
- Nureev R.M. (2001) Social'nye subjekty postsovetskoy Rossii: istoriya i sovremennost' [Social subjects of post-Soviet Russia: history and modernity]. *Mir Rossii*, vol. 10, no. 3, pp. 3–66.
- Nureev R.M., Latov Y.V. (2016) *Ekonomicheskaya istoriya Rossii (opyt institucional'nogo analiza)* [Economic history of Russia (experience of institutional analysis)]. Moscow: KNORUS.
- Nureev R.M., Latov Y.V. (2015) Postsovetskoe institucional'noe razvitie: v poiskah vyhoda iz kolei vlasti-sobstvennosti [The post-soviet institutional development: in search of a way out of the power-ownership track]. *Mir Rossii*, vol. 24, no. 2, pp. 50–88.
- Nureev R.M., Runov A.B. (2002) Rossiya: neizbezhna li deprivaciya? (fenomen vlasti-sobstvennosti v istoricheskoy perspektive) [Russia: is the deprivation inevitable? (The phenomenon of power-ownership in historical perspective)]. *Voprosy ekonomiki*, no. 6, pp. 10–31.
- Pliskevich N.M. (2015) Transformaciya sistemy-sobstvennosti v Rossii: regional'nyy aspekt. Reformy i kachestvo gosudarstva [The transformation of the system of ownership in Russia: regional aspect. The reforms and the quality of the state]. *Mir Rossii*, no. 1, pp. 8–34.
- Pliskevich N.M. (2006) "Vlast'-sobstvennost'" v sovremennoy Rossii: proishozhdenie i perspektivy mutacii ["Power-ownership" in modern Russia: origin and prospects for mutation]. *Mir Rossii*, vol. 15, no. 3, pp. 62–113.
- Shkaratan O.I. (2004) Etakratizm i rossijskaja societal'naja sistema [Etatcracy and Russian societal system]. *Obshchestvennye nauki i sovremennost'*, no. 4, pp. 49–62.
- Shkaratan O.I. (2015) Social'naya sistema, obraschennaya v proshloe [Social system, facing to the past]. *Sociologicheskii zhurnal*, no. 3, pp. 80–119; no. 4, pp. 150–168.